

РЕТРО-ДЕТЕКТИВ

СНИМОК С ТОГО СВЕТА



Надежда Чародейская

Санкт-Петербург. 1883

Надежда Чародейская

Снимок с того света

«Автор»

2026

Чародейская Н.

Снимок с того света / Н. Чародейская — «Автор», 2026

Санкт-Петербург, осень 1883 года. Дама в глубоком трауре просит фотографа Вересова о невозможном: снять портрет её мужа, умершего год назад и являющегося ей по ночам. Вересов, который не боится невозможного, соглашается взглянуть. И первое, что он видит на «духовных снимках», которыми вдову потчует модный медиум барон фон Гейст, — двойную экспозицию: лицо «призрака» списано со старого дагерротипа, до морщинки. Призрак — работа человеческих рук. А когда в подворотне находят задушенным фотографа, делавшего эти подделки, Вересов понимает: за салонным спиритизмом прячется не один трюк, а два. И второй пахнет наперстянкой и смертью годичной давности. Ретро-детектив в духе Акунина и Чижова о фотографе, который умеет отличать духов от двойной экспозиции.

© Чародейская Н., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Глава первая. Дама в вуали	9
Глава вторая. Наука против барона	15
Глава третья. Сеанс у Цепного моста	21
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Снимок с того света

Пролог

В ночь на первое октября восемьдесят второго года, когда над Невой стоял тот сырой, ватный туман, в каком тонут и огни, и голоса, в доме пароходчика Стрешнева на Английской набережной умирал хозяин.

Умирал он долго и, как всё в этом доме, солидно: в спальне на втором этаже, при свечах, под присмотром домашнего лекаря, который уже третью неделю не отходил от постели и которому прислуга — спасибо и на том — выносила к утру самовар и чистый воротничок. Лекаря звали Игнат Прокофьевич Гестов, был он невысок, лысоват, говорил тихо и так складно, что больной, прежде не веривший ни в каких докторов, поверил ему сразу и даже, по слабости, полюбил: такие люди умеют объяснить человеку его собственную болезнь лучше, чем он сам её чувствует.

Викентий Павлович Стрешнев был из тех купцов, про которых в городе говорили не «богатый», а «основательный». Начал он ещё мальчишкой — бегал по пристаням, подносил, прислуживал, а к сорока годам сам стоял у штурвала и сам же, говорят, разгружал баржи наравне с артелью, «чтоб не зазнавались». Пароходство «Стрешнев и сын» он сколотил своими руками, и потому всё в нём — от конторских дверей с медными ручками до последней шлюпки на корме — было подчинено одному закону, который он любил повторять: «Дело любит, чтобы при нём был хозяин». Хозяином он и был. И, как часто случается с такими хозяевами, сам не заметил, как дело, любившее его при жизни, начало потихоньку примеряться к нему уже как к наследству.

Болезнь у Викентия Павловича была та самая, о которой в купеческих домах говорят шёпотом и как-то виновато: сердце. Уж на что крепок был пароходчик — с молодых лет грузил с артелями, сам стоял у штурвала, сам вскрывал бочки с селёдкой и однажды в споре с лоцманом перешиб ладонью весло, — а сердце, выходит, было у него не крепкое, а горячее. Горячие сердца, объяснял Гестов, сгорают раньше. И давал от этого «капли» — тёмные, пахучие, из тёмного пузырька, — от которых Викентию Павловичу делалось спокойно и сонно, как в детстве под тулупом.

В доме в тот час стояла та особенная, глухая тишина, какая бывает только в больших купеческих домах перед рассветом, когда даже часы, кажется, тикают вполголоса, боясь разбудить хозяина. За окнами, по набережной, простучали дрожки и стихли в тумане, и в наступившей тишине слышно было, как внизу, в людской, кто-то вполголоса переругивается с самоваром, да как в спальне, на столике у изголовья, едва слышно постукивает крышка золотых часов — подарка покойной ещё матери Викентия Павловича. Гестов, сидевший в кресле у двери, прислушивался к этому стуку и считал — не часы, а то, другое, что считал он теперь всякую ночь: сколько осталось.

В ту ночь капель он попросил сам. Гестов отмерил в рюмку, придержал больному голову, привычно, по-сидельному, и тот выпил, облизнув сухие губы, и сказал вдруг, не открывая глаз:

— А что, Игнат Прокофьич, долго мне ещё, по-твоему, на этих каплях сидеть?

Впрочем, про самого Гестова в доме знали до обидного мало, и это всех устраивало — а его, пожалуй, больше всех. Знали, что он «из аптекарских», что вдов, что лет ему под сорок и что в губернии у него, по его словам, осталась «тётка, которой он помогает». Ни тётки, ни губернии, разумеется, не было, но говорил он об этом так складно и так грустно, что спрашивать дальше считалось неприличным. А между тем вся его складная, тихая жизнь уже тогда была рассчитана на много лет вперёд, как рассчитан бывает длинный, терпеливый приём: каж-

дый визит к больному, каждая отмеренная капля, каждое ласковое слово вдове — всё стояло на своём месте, в своей клеточке, как в аптечном шкафу, где ни одна склянка не стоит зря.

Гестов не ответил сразу. Он стоял у окна, спиной к свету, и поправлял манжету, и в полутьме лицо его было спокойно, как у человека, который уже всё решил и теперь только ждёт, когда решение догонит обстоятельства.

Гестов, впрочем, и в эту ночь не допустил ни одной вольности. Всё было проделано как всегда — с той безупречной, почти нежной тщательностью, с какой он проделывал всякое дело: пузырёк откупорен ровно, рюмка протёрта насухо, капли отмерены по счёту, и ни один мускул на лице не дрогнул, когда больной, облизнув губы, сказал «спасибо». Он любил эту минуту — минуту, когда человек доверчиво подставляет своё здоровье, а вместе с ним и жизнь, — и всякий раз, отворачиваясь к окну, прятал не страх и не жалость, а то особое, спокойное удовольствие, какое бывает у мастера, глядящего на свою, в совершенстве выполненную работу.

— Капли, Викентий Павлович, не держат, — сказал он наконец тем своим ровным голосом, каким читают вслух скучную и неоспоримую бумагу. — Капли — они подпирают. А подпорка, сами знаете, не стена.

— Это ты к чему? — Больной приоткрыл один глаз, мутный, но цепкий, каким он глядел когда-то на нерадивых приказчиков.

— К тому, что ночь нынче сырая, — сказал Гестов. — Спите. Сердце до утра дотянет, а там — видно будет.

И ведь как в воду глядел. Не прошло и часу, как сердце у Викентия Павловича — то самое, горячее, о котором в доме говорили шёпотом, — взяло да и остановилось, тихо, без стука, будто кто-то придержал маятник двумя пальцами. Гестов, дремавший в кресле у двери, поднялся, подошёл, долго слушал грудь, потом поправил покойному ворот и сложил ему руки на груди, аккуратно, как складывают чужое добро. И только после этого, выждав, сколько полагается по чину, вышел в коридор и сказал прислуге негромко:

— Барыню позовите. И батюшку. Отмаялся.

Она потом, когда всё кончилось и осталась позади та длинная, как год, ночь, так и не смогла вспомнить, как бежала по коридору и почему не разбудила никого: дом, ещё полчаса назад сонный и тёплый, в один миг сделался чужим, длинным, как не своя жизнь, и в нём, в этом внезапно чужом доме, она бежала босая по холодным половицам и всё ждала, что вот-вот проснётся. Не проснулась. И потому, опустившись у постели на колени и взяв мужа за уже остывавшую руку, она заговорила с ним о пустяках — о новых обоях, о пароходе, о даче, — как говорят с человеком, который ещё здесь, только задремал, и которого страшно, смертельно страшно не разбудить.

И уже потом, много позже, Вересов не раз возвращался мыслью к этой ночи и всё пытался представить её не как вдову, а как фотограф: как в доме, где только что умер хозяин, гаснут одна за другой свечи, и в этой темноте, по лестнице, неслышно, как проявитель, расплзается то, чему ещё предстоит проявиться через год. Он и сам не мог бы сказать, отчего ему, человеку, видевшему всякое, так врезалась в память именно эта картина — босая женщина на холодных половицах, чужая рука, остывающая в её ладони, и где-то за окном, на набережной, неторопливый шаг городского. Может, оттого, что всякое дело, думал он, начинается не тогда, когда его приносят к тебе в ателье, а тогда, когда в доме впервые гаснет свет. А свет в этом доме погасили задолго до того, как он, Вересов, взялся за это дело. И погасил его — он теперь знал это наверняка — не покойник.

Ольга Андреевна прибежала в одной сорочке, босая, с распущенной косой, и ещё с порога поняла всё по тому, как Гестов, не глядя ей в глаза, отступил от двери, пропуская её в спальню, как пропускают вдову.

В ту ночь в доме вообще не было ни криков, ни суеты — только шёпот за дверями да шаги, торопливые и мягкие, как по снегу, хотя за окнами ещё висела сырая октябрьская мгла.

И это молчание — то самое, купеческое, достойное, каким в таких домах встречают смерть, — было, пожалуй, страшнее любого вопля: оно значило, что всё уже решено, всё уже свершилось, и осталось только соблюсти порядок.

Она не закричала. Она опустила у постели на колени, взяла мужа за холодную уже руку и стала говорить с ним — тихо, ровно, о каких-то пустяках, о том, что завтра, если прояснится, надобно бы съездить на дачу, что привезли новые обои для гостиной, что пароход «Вихрь» встал на зимний ремонт и что без него, Викентия Павловича, она этого ремонта боится больше, чем ледохода. Так и сидела, пока её не увели.

Ольгу Андреевну увели под руки две горничные — увели не потому, что она не держалась на ногах, а потому, что смотреть на неё было невмочь: так смотрят только те, кто уже всё понял, но ещё не смеет понять до конца. Прислуга в доме ходила на цыпочках и говорила шёпотом, как говорят в доме, где лежит покойник и где ещё не решили, как с ним быть. Доктор, приехавший к утру, — пожилой, с обвисшими усами, из тех, кого зовут, когда уже поздно, — долго щупал пульс, которого не было, качал головой и наконец вынес то, чего все и ждали: «Сердце. Паралич. Господа, тут уж ничего не попишешь». И Гестов, стоявший тут же, у изголовья, согласно кивнул — аккуратно, с той почтительной скорбью, с какой кивают люди, для которых чужой диагноз есть собственное алиби.

А Гестов стоял у окна, глядел, как внизу, по туманной набережной, городской неторопливо обходит свой пост, и думал о том, что в аптечной книге на Садовой, у старика Андрона Лукьяновича, напротив фамилии «Гестов» стоит теперь лишняя запись, которую надобно будет на днях, под благовидным предлогом, выправить. А Гестов, впрочем, и не думал о том, что делает. Он думал — как всегда, холодно и точно, — о том, что будет потом. Про то, что вдову надобно держать при себе, он решил ещё у постели: женщина, потерявшая мужа, — это как дом, из которого вынесли хозяина: заходи и живи, только не скрипи половицами. А про то, как её держать, — придумал позже, в те пустые ночи, когда горе вдовы, не находя выхода, начало искать собеседника. И тогда он понял: ей не надобен ни он, ни деньги, ни даже правда. Ей надобен муж. И ежели мужа нельзя вернуть живым, то его можно... вызвать. Сначала — в разговорах, шёпотом, «по памяти». Потом — на сеансе, в полутьме. А потом, глядишь, и на стекле. Светопись, размышлял он, до сей поры служила живым; отчего бы ей, при известной сноровке, не послужить и мёртвым — вернее, тому, кто мёртвого умело изображает.

И ещё о том, что «фон Гейст» по-немецки — это, если разобраться, тот же Гестов, только произнесённый шёпотом. А шёпот, как известно, слышнее крика — особенно по ночам, в доме, где только что умер хозяин.

Хоронили Викентия Павловича через три дня, на Смоленском, и народу пришло столько, что процессия растянулась от самой церкви до ограды. Пароходчики, приказчики, артельщики с обнажёнными головами, старые лощманы, помнившие его ещё рулевым, — все стояли молча, и только ветер с залива рвал с венков ленты. Ольга Андреевна шла за гробом, опираясь на руку Гестова, и Гестов — это многие потом припоминали — держал её так бережно и так крепко, будто она была не вдова, а ценный груз, который нельзя уронить. Пыжов, явившийся в траурной повязке поверх сюртука, всю дорогу вертел головой и что-то высчитывал губами; у могилы он, дождавшись своей очереди, бросил горсть земли не на гроб, а как-то мимо, в сторону, словно уже прикидывал, где ему теперь копать. А домашние, разъезжаясь, шептались о том, что барин-то умер на удивление легко: вечером ещё спрашивал ужинать, а к полуночи — отпели. И никто, разумеется, не знал, что «легко» — это и есть самое страшное слово в этом доме, потому как за лёгкой смертью, как за лёгким светом, ничего не видно.

За тот год, что прошёл с похорон, Гестов успел многое, и всё — по-своему аккуратно. Он выправил аптечную книгу на Садовой — по благовидному предлогу, «для ровности счетов»; отпустил бороду, отчего лицо его сделалось тоньше и значительнее; снял квартиру на Фонтанке, у Цепного моста, и завёл в ней чёрные портьеры, круглый стол и прислугу с непроница-

емым лицом. А главное — он завёл себе имя. Не то, с каким родился, а то, с каким родился заново: «барон фон Гейст».

И ещё он завёл привычку, которой не знал за собой прежде и которая больше всякой бороды выдавала в нём перемену: по вечерам, заперев кабинет, он садился перед зеркалом и подолгу глядел на себя, повторяя вполголоса одно и то же, как повторяют роль, — «барон фон Гейст... барон фон Гейст». Так актёр перед премьерой вживается в чужое имя, покуда оно не перестанет отдаваться в ушах фальшью. И однажды, недели через три, имя перестало. Он и сам не заметил, в какой именно вечер это случилось: просто глянул в зеркало — а оттуда глядел уже не провизор Гестов, а человек, который давно и по праву зовётся бароном. Прошлого больше не было. Оно осталось в аптечной книге, которую он так предусмотрительно выправил.

Репетировал он, впрочем, не только перед зеркалом. По ночам, в пустой ещё гостиной на Фонтанке, он подолгу возился с вентиляционной решёткой и с портьерами, проверял, откуда и как тянет сквозняк, прикидывал, где встанет «явление» и куда упадёт тень от трёх свечей, — и всё это было проделано с той же аптекарской точностью, с какой отмеривают капли. Гестов не верил в духов ни минуты. Он верил в другое: в то, что человеку, потерявшему близкого, не нужен фокус — ему нужна декорация, в которой он сам, без всякой подсказки, дорисует покойника. И потому главным его инструментом был не магний и не марля, а полумрак. В полумраке, он знал, люди видят то, чего им не хватает.

Вдову он не выпускал из рук ни на день: навещал, утешал, советовал, а по вечерам, у неё дома, «вызывал» покойного — сначала просто голосом, потом стуком, потом и «явлениями». Ольга Андреевна таяла и верила. А когда кто-то из знакомых, услышав о сеансах, pokrutil пальцем у виска, Гестов только улыбнулся и сказал то, что потом повторял всюду: «Скорбящему нельзя объяснять скорбь. Ему можно только быть рядом». И люди, слышавшие это, качали головами и находили, что барон, хоть и странен, а сердце у него золотое.

Прошёл год.

Глава первая. Дама в вуали

Октябрь восемьдесят третьего года выдался в Петербурге такой, что о нём и вспоминать не хочется, и забыть нельзя: сырой, серый, с теми долгими дождями, после которых мостовые блестят, как мокрые стеклянные пластины, а прохожие — всё больше по левой стороне, под зонтами, и каждый торопится, будто за ним кто гонится.

В один из таких вечеров, когда колокольчик над дверью ателье на Загородном звякал уж совсем нехотя, а Макар клевал носом над ванночками в красном свете тёмной комнаты, к Вересову явилась посетительница, каких он, при всей своей практике, ещё не видывал.

День тот, впрочем, ничем не отличался от прочих октябрьских дней, а именно такие дни, ничем не примечательные, Вересов и не любил больше всего: он давно заметил, что беда никогда не приходит в день, который её ждёшь, а всегда — в самый обыкновенный, когда кажется, что ничего уже не случится. С утра он проявил два десятка карточек, снял четырёх купчих и одного господина, пожелавшего сняться «с видом Мефистофеля», в чём ему, как честному фотографу, было вежливо отказано. Макар, сменивший за день три фартука и переживший один спор с капризной дамой, жаловался, что «октябрь, он, барин, хуже всякого духа: люди-то нынче снимаются всё как перед покойником». Вересов слушал вполуха. После четырёх дел, прогремевших на весь город, он ждал пятого с тем чувством, с каким ждут грозы: знаешь, что будет, — и всё равно каждый раз вздрагиваешь.

Дама в трауре, вся в чёрном, с лицом, закрытым густой вуалью, и с письмом в перчатке, от которого — Вересов уловил это сразу, ещё с порога, — пахло ладаном и сырым сургучом. Пахло так, как пахнет в церкви после отпевания и в конторе после опечатывания: смесь, от которой у обычного человека холодеет между лопатками, а у фотографа, привыкшего иметь дело с покойниками, — только обостряется глаз.

— Господин Вересов? — спросила она негромко, и голос у неё был такой, будто она только что вышла из церкви. — Мне вас рекомендовали как человека, который не боится невозможного. — Она положила письмо на стол. — У меня к вам просьба. Мне надобно снять портрет. Одного человека. — Она помолчала, и под вуалью, кажется, дрогнули губы. — Только человек этот, господин фотограф, вот уже год как умер. И я хочу, чтобы вы сняли его так, как он мне является. По ночам.

Вересов медленно взял письмо, повертел в руках. Конверт был плотный, с тиснёной короной по углу и с чьей-то размашистой рекомендацией, выведенной таким почерком, каким пишут люди, уверенные, что их слова в чужих делах весят не меньше собственных. Сургуч был сырой — значит, письмо запечатывали недавно, и запечатывали в помещении, где топили, — а ладан въелся в бумагу так, будто конверт неделю пролежал под аналоем.

И по этой размашистой, самоуверенной рекомендации, и по тиснёной короне, и по ладану Вересов без труда прочитал всю историю письма: писала его не сама вдова, а кто-то из тех, кто верит, что покойников можно «снять» так же, как снимают виды, — какой-нибудь отставной генерал с короной на гербе и с вечным ладаном в доме. Таких рекомендателей у него за годы набралось довольно: Петербург, он давно заметил, в горе своём не доверяет ни полиции, ни докторам, а идёт почему-то к фотографу. И оттого, что эта странная, печальная логика приводила к нему всё больше вдов, стариков и матерей, Вересов и держал на дверях ателье тот негромкий колокольчик, который, по его убеждению, звонил не о посетителе, а о том, что кому-то в этом городе снова стало некому верить.

Вересов вскрыл конверт не сразу — сперва подержал его у лампы, как держат негатив, разглядывая на просвет водяные знаки и тиснение, — и только потом, коротким движением, сорвал сургуч. Письмо было короткое, писано той самой размашистой рукой, что и адрес, и заключало в себе, как и положено рекомендательным письмам, всё и ничего: «Подательница

сего — вдова, женщина достойная, в большом горе. Прошу принять её, выслушать и, ежели возможно, помочь. Дело, о котором она расскажет, сочтут безумным; Вам же, полагаю, не первой иметь дело с тем, чего не бывает. Остаюсь с совершенным почтением...» — и подпись, которую Вересов, взглядевшись, узнал: так подписывался один старый адвокат, ведший когда-то дела ещё по первой его истории. Стало быть, подумал Вересов, и солидные люди нынче верят в то, что мёртвых можно снять. Или, вернее, верят в то, что беду вдовы можно, по крайней мере, кому-то передоверить.

— Вы, сударыня, — сказал он наконец, — кажется, пришли по адресу. Только предупреждаю заранее: мёртвых я, как всем объясняю, не проявляю. Я проявляю то, что на стекле. А вот ежели ваш покойник согласится посидеть перед камерой смирно, — он усмехнулся, — тогда и поглядим, кто кому является.

Дама, кажется, не поняла, шутит он или нет. Она стояла у стола, прямая, как на панихиде, и только пальцы её, затянутые в чёрную перчатку, медленно сжимали ридикюль, будто она решалась на что-то ещё.

— Я не сумасшедшая, господин Вересов, — сказала она тихо. — Я знаю, как это звучит со стороны. Мне уже и доктора, и сестра, и даже горничная — все, почитай, намекают: «съездите на воды», «выбросьте вы эти карточки». А я не могу выбросить. — Она перевела дух. — Потому как, куда я их гляжу, он... он как будто рядом. Глупо, да? Женщина в мои годы — и в такие сказки. — В голосе её прорвалась горькая, безнадежная ирония. — А я вам вот что скажу, господин фотограф: кто из нас не сказки, тот и не живёт. Просто у одних сказки — наряды да балы, а у меня — покойный муж, который приходит по ночам. И я, дура, за эту сказку держусь, как за его руку.

— Хотя, глядя на меня, всякий так подумает, — продолжала она. — Она развязала ленты ридикюля и вынула оттуда несколько карточек, разложила веером по столу. — Вот. Вот он. Является.

Вересов посмотрел. И не сразу, надо отдать ему должное, нашёлся, что сказать. Не потому, что испугался — за свои дела он повидал всякое, — а потому, что карточки эти были сделаны на редкость ладно: не то грубое, топорное привидение, какое лепят заезжие фокусники, а тонкая, почти художественная работа, в которой полупрозрачный господин за плечом вдовы держался так естественно, так «по-домашнему», что и Вересов, знавший всю эту кухню наизусть, на миг почувствовал то самое, ради чего, собственно, такие карточки и делаются: холодок. Короткий, неприятный, вроде сквозняка из подпола. Именно на этот холодок, подумал он, и ловят. И именно за него люди платят.

На карточках была снята она сама — та же чёрная вуаль, тот же прямой стан, — сидела в кресле, сложив руки, и смотрела в объектив. Ничего особенного в портрете не было, кроме одного: за левым плечом дамы, чуть выше, в сером полумраке фона, стоял мужчина. Он был полупрозрачен, как дым, как отражение в тёмном окне, — и всё же лицо его читалось ясно, до последней морщинки: широкий лоб, бакенбарды с проседью, тяжёлые веки, из-под которых взгляд выходил внимательный и усталый, какой бывает у людей, привыкших, что им лгут. Стоял он неподвижно, чуть склонив голову набок, — так стоят на старых дагерротипах, где выдержка в полминуты заставляла человека замереть и смотреть в одну точку.

— Викентий Павлович Стрешнев, — сказала дама, не дожидаясь вопроса. — Пароходство «Стрешнев и сын», Английская набережная. Год как в могиле. А снимается, как видите, исправно.

Вересов взял одну карточку, поднёс к лампе, наклонил. Потом другую. Потом, не говоря ни слова, отошёл с ними в тёмную комнату и при красном свете, под носом у сонного Макара, разложил их на сушильном столе и долго рассматривал через лупу, как рассматривают негатив, на котором проступает нечто лишнее.

— Макар, — сказал он наконец, не оборачиваясь, — принеси-ка свечку. Да не ту, что в ванночке, а восковую, чистую.

Макар, не задавая лишних вопросов — а это, доложу я вам, умел он как никто, — сбегал, принёс, и Вересов, поставив свечу сбоку, стал водить карточкой над пламенем, так и эдак, ловя на глянцевої поверхности то свет, то тень.

— Ну что, барин? — не выдержал наконец Макар, крестясь украдкой. — Никак, опять покойник?

— Покойник, — согласился Вересов. — Только не там, где ты крестишься.

Вересов между тем снова взял карточку и, уже не для Макара, а для себя, принялся разглядывать её так, как разглядывают не картинку, а работу. За четыре своих прежних дела он выучил одну простую вещь: мошенник, как и фотограф, всегда оставляет на снимке себя — один движением, другой взглядом, третий тенью, которой там не должно быть. И в этой карточке, при всей её жути, натренированный глаз уже угадывал то, чего не видела вдова: не покойника, а уверенные руки того, кто снимок сделал. Руки, привыкшие к точности, к свету и — он перевернул карточку — к двойной экспозиции. А двойная экспозиция — это, брат, не чудо. Это ремесло. И за всяким ремеслом стоит человек, который им кормится.

Он вернулся в ателье, к даме, которая всё так же стояла у стола, и положил карточки обратно, аккуратно, веером.

— Сударыня, — сказал он, — я возьмусь. — И, видя, как у неё дрогнули плечи, прибавил мягче: — Только не думайте, что я вам услугу делаю. Я человек, как бы это сказать, устройством своим не способный проходить мимо того, что на стекле наврано. Есть, знаете ли, такие ремесла: шарманщик не пройдёт мимо фальшивой ноты, аптекарь — мимо поддельного порошка, а фотограф — мимо чужой экспозиции. Вот и выходит, что я берусь не из доброты, а из ремесла. А ремесло, сударыня, — оно понадежнее доброты будет: доброта, она, случается, и устаёт, а ремесло — никогда.

— Но с одним условием, — продолжал он. — Снимать я буду не «как он вам является», а как он есть. И для этого мне надобно будет поглядеть на ваши явления поближе. Не в спальне вашей, упаси бог, а там, где они, по вашим словам, случаются. — Он помолчал. — Вы ведь не сами эти карточки снимали, верно? Кто-то вам их делал. Вот с этого «кого-то» и начнём.

Дама под вуалью впервые за вечер, кажется, улыбнулась — невесело, одними губами.

— Делал, — сказала она. — Медиум. Барон фон Гейст. Вы, верно, слышали: его теперь весь Петербург зовёт — иные смеются, а иные плачут и благодарят. Он и сеансы ведёт, и снимки «с того света» делает. — Она помолчала. — И он один говорит, что я не безумна. Что Викентий Павлович — здесь, рядом, и что стоит лишь... правильно снять.

Он, впрочем, и сам не сразу понял, что его так насторожило, — то ли слово «бескорыстен», произнесённое вдовой с той доверчивой простотой, с какой произносят «добр» или «честен», то ли вся эта картинка разом: год как умерший муж, медиум, который «платит духам», и живая женщина, которая платит тем, что живёт. Так не бывает, думал Вересов, чтобы вокруг одного покойника собралось столько бескорыстия. Бескорыстие, оно, как и эфир, — дёшево только в малых дозах. А в больших — за него всегда кто-то платит, и платит, как правило, тот, кто о плате и не догадывается.

— Вот как, — сказал Вересов, и в голосе его мелькнуло что-то такое, отчего Макар, протиравший за прилавком стекло, насторожился.

Вересов подошёл к прилавку, за которым Макар старательно тёр и без того чистое стекло, и негромко, так, чтобы не услышала дама, бросил через плечо: «Запомни, брат: если человек говорит, что деньги тут ни при чём, — стало быть, они при чём вдесятеро». Макар, не переставая тереть, кивнул с таким видом, будто ему открыли тайну мироздания. Он давно заметил, что барин после таких визитов делается собран, как охотник, и что слова его в такие минуты

надо не понимать, а запоминать — понимание, по его опыту, приходило позже, обыкновенно к середине дела.

— И много ли барон берёт за то, чтобы покойник вышел удачно?

Дама чуть повела плечом.

— Деньги, сударыня, — заметил Вересов, — в таких делах всегда при чём, даже когда их будто бы нет. Бескорыстие, знаете ли, бывает двух сортов: то, что просит копейку за сеанс, и то, что просит душу в заклад. Второе, по моему разумению, куда дороже.

— Деньги тут ни при чём, господин Вересов. Барон бескорыстен. Он говорит, что ему платят — духи. — Она впервые подняла глаза, и сквозь вуаль Вересов разглядел, что глаза у неё сухие и очень усталые. — А я плачу ему тем, что живу. Потому что, покуда он вызывает моего мужа, я хоть как-то... не одна.

Вересов ничего не ответил. Слова в такие минуты были ни к чему: он давно усвоил, что человеку, стоящему по пояс в собственном горе, не надобно ни советов, ни утешений — ему надобно, чтобы кто-то просто постоял рядом и не отвернулся. А потому он и стоял, глядя на дождь, и слушал, как за спиной, негромко и ровно, она говорит о муже — о том, какой он был, и о том, каким является теперь, — и в этой ровной, без надрыва, речи было больше правды, чем в иной исповеди. Наконец он прошёл к двери, приоткрыл её

— на улице, как по заказу, припустил дождь, — и постоял так, глядя, как по стеклянному скату ателье ползут мутные ручейки, и в них, как в мокром коллодии, медленно проявляется перевёрнутый Загородный.

— Ольга Андреевна, — сказал он, не оборачиваясь, и по тому, как вздрогнула дама, понял, что угадал имя, — я вам вот что скажу. Покойники, ежели им есть до нас дело, являются не на стекле. Они являются в памяти, в долгах и в завещаниях. Всё прочее — либо болезнь, либо фокус, либо то и другое разом. Я не обещаю вам мужа. Но обещаю узнать, кто вам его подменяет. — Он обернулся. — И предупреждаю: узнаете — не обрадуетесь.

— Да, — тихо сказала она наконец. — Не обрадуюсь. Вы не первый, кто мне это говорит. — Она помолчала, и Вересов увидел, как пальцы её, державшие ридикюль, то сжимаются, то разжимаются, будто она пробует, не отнялись ли. — Доктор мой говорит: «Ольга Андреевна, вам надобно на воды, развеяться». Сестра из Москвы пишет: «Брось ты эти сеансы, люди смеются». А я... я не могу бросить. Потому как, покуда он является, у меня есть хоть что-то, что не умерло. — Она вскинула на Вересова глаза, и сквозь вуаль блеснуло в них что-то отчаянное, почти злое. — Вы, господин фотограф, видели всякое. Скажите мне честно: я безумна?

Дама долго смотрела на него, потом медленно опустила вуаль, хотя та и так была опущена, и поправила её дрогнувшей рукой.

— Я уже год не радуюсь, господин Вересов, — сказала она тихо. — Так что хуже не будет. — Она повернулась к двери и, уже взявшись за ручку, прибавила, не оборачиваясь: — Завтра в восемь, в доме барона, на Фонтанке, у Цепного моста, — сеанс. Приходите. Только, ради бога, не говорите ему, что вы фотограф. Скажите, что вы... родственник из провинции. Или присяжный поверенный. Барон не любит, когда на сеансах бывают люди, которые... умеют смотреть.

К утру дождь разошёлся пуще прежнего, и по Загородному, по его облупленным фасадам и мокрым вывескам, тянул тот особенный, промозглый ветер, от которого у прохожих деревенеют лица. Ателье Вересова, впрочем, и в такую погоду не пустовало: к полудню у дверей, под зонтами, уже переминались первые заказчики — всё больше дамы, закутанные до бровей, — и Макар, отворявший им с поклоном, вполголоса ворчал, что «в такую погоду только покойников и снимать, а эти всё лезут и лезут». Вересов, слышавший это, только покачивал головой: он-то знал, что именно в такую погоду — серую, безнадёжную, когда кажется, что свет никогда

не вернётся, — люди и тянутся к светописи. Сниматься в дождь идут те, кому хочется, чтобы хоть на стекле осталось что-нибудь светлое.

И вышла в дождь, а колокольчик над дверью звякнул ей вслед — нехотя, как звякает он над всяким, кто уносит с собой больше, чем принёс.

Макар, выждав, пока стихнут шаги, выглянул из-за прилавка и тихо, одними губами, спросил:

— Барин, а барин... это что же, нам теперь и духов снимать придётся?

Макар тем временем стоял у окна и смотрел, как за стеклом разошёлся дождь — уже не шёл, а висел сплошной косою стеной, и в этой стене, как в сером стекле, расплывались огни Загородного. От этих огней у Макара почему-то сосало под ложечкой: по его деревенским понятиям, покойники сырость любят, как лягушки, и в такую вот погоду им самое раздолье. Он вспомнил полупрозрачного господина на карточке, вспомнил, как тот стоял за плечом у барыни, — и невольно перекрестился, и оттого, что перекрестился, ему стало ещё страшнее: выходило, он сам, своими руками, верит в то, над чем барин смеётся.

— Духов, Макар, — сказал Вересов, запирая за дамой дверь и возвращаясь к столу, где всё ещё лежал конверт, пахнувший ладаном, — духов снимать не придётся. Духи, слава богу, на стекло не ложатся. А вот те, кто их подкладывает, — ложатся, и ещё как. — Он взял карточку, что забыл вернуть, поднёс к лампе. — Ты вот что мне скажи. Погляди сюда, только не крестись, а гляди глазами. Что ты видишь?

Макар, пересилив себя, подошёл, скосил глаз.

— Вижу, — прошептал он. — Стоит. Прямо за плечом у барыни. Полупрозрачный, а лицо — как живое.

— А теперь скажи, — Вересов прищурился, — где стоит покойник — перед барыней или за ней?

— За ней же! — удивился Макар. — За левым плечом.

— За левым, — кивнул Вересов. — А свет-то у него откуда? Барыня снята при лампе, тень у неё на правую сторону. А у покойника тень — на левую. И лицо освещено так, как освещают в полдень у окна, а не при свече. — Он постучал ногтем по карточке. — Это, брат, не дух. Это две карточки, снятые в разное время и в разных комнатах, а потом сведённые на одну пластину. Одна экспозиция — барыня, вторая — старый портрет покойника. Наложили — и вышел «дух». Понимаешь?

Макар понимал не всё, но кивал старательно.

— А ещё у этого духа, — продолжал Вересов, — взгляд. Ты видел когда-нибудь, чтобы живой человек — хоть и покойник — смотрел в объектив, не мигая, полминуты? На старом дагерротипе так и сидят: замереть велено. Вот он и замер. Лет шесть назад, когда был ещё жив. А теперь его за это самое и выдают за привидение. — Вересов отложил карточку и усмехнулся. — И ведь что обидно, Макар: фокус-то грубый, ученический. Я бы так не снял. А барон — не снимает, он подряжает. Есть у него, чует моё сердце, свой светописец, из дешёвых и пьющих. Вот его-то мы завтра и поищем.

Вересов, проводив Макара взглядом, ещё раз подошёл к окну и долго смотрел на дождь. Дело, которое само свалилось ему в руки этим вечером, было, он чувствовал, не из простых — и не потому, что в нём было что-то таинственное, а потому, что таинственного в нём было слишком много, как бывает в домах, где всё нарочно поставлено так, чтобы пугать. Вдова, медиум, покойник на карточке, поддельные «явления» — всё это складывалось в картинку, которая была ему неприятна не своей жутью, а своей подлостью. Одно дело — когда человек сам морочит себе голову, и другое — когда ему эту голову морочат за его же деньги и на его же горе. Вересов терпеть не мог, когда горе становится товаром. И потому, отойдя от окна, он сел к столу и стал писать письмо — то самое, первое, с которого начинаются все его расследования: письмо к самому себе, где дело раскладывается по полочкам.

За окном, в жёлтом круге фонаря, косо летели капли, и в их мельтешении, если долго глядеть, начинало чудиться всякое: то будто по мостовой идёт высокий господин в цилиндре, то будто у стены напротив кто-то стоит и ждёт. Вересов, впрочем, чудес не боялся — он боялся другого: что в этой серой октябрьской круговерти, в этом городе, где все торопятся и никто не оглядывается, легко спрятать не то что фокус, а целую человеческую жизнь. И ведь прячут же, думал он, и прячут так ловко, что и карт не нужно — довольно одного покойника и одной доверчивой вдовы.

Он сел к столу, подвинул к себе лампу и принялся писать письмо — короткое, в несколько строк, — а Макар всё стоял у прилавка, переваривая услышанное, и наконец выдал то, что мучило его больше всего:

Макар, надо сказать, в глубине души до смерти боялся покойников — не тех, что в гробах, а тех, что, по рассказам, встают и ходят. В его родной деревне, откуда он подался в город три года назад, о таких вещах говорили вполголоса, по вечерам, и у него до сих пор, стоило зайти разговору о «явлениях», начинали холодеть ладони. С тех пор как барин взялся за свои дела, Макар насмотрелся на покойников предостаточно — и всё равно каждый раз, когда речь заходила о том, «является или не является», он невольно крестился под прилавком и вспоминал бабу, которая учила его: «Мёртвых, Макарка, не бойся. Бойся живых, что мёртвых поминуют не к добру». И вот теперь, глядя, как барин спокойно вертит карточку с полупрозрачным господином, Макар мучительно соображал, кого из двоих ему бояться больше — покойника на стекле или того живого, который его туда положил.

— Барин, а ежели всё-таки... ну, мало ли... ежели и вправду является? Нешто стекло не может того... удержать, что ему не положено?

Вересов дописал, посыпал песком, сложил.

Писал он не кому-нибудь, а одному своему давнему знакомцу, светописцу с Литейной, про которого в цеху говорили, что он знает всякую тёмную дверь в Петербурге. Спрашивал Вересов коротко и без околичностей: кто нынче в городе берётся за «двойные карточки» — те самые, на которых покойники выходят как живые, — и почём такое удовольствие берёт за дюжину. Умельцев этих, он знал, по Петербургу наберётся не один и не два: ремесло стыдное, но хлебное, и держится оно, как всякое тёмное ремесло, на трёх китах — на чужом горе, на дешёвом магнии и на том, что заказчик, глядя на готовый снимок, верит не глазам, а сердцу. А сердце, думал Вересов, пряча письмо в конверт, — свидетель никудышный: оно всегда показывает не то, что есть, а то, чего ждёшь.

— Может, — сказал он спокойно. — Стекло, Макар, вообще многое может. Оно и свет удерживает, и лица, и время. Одно только оно не умеет — врать. Врёт всегда тот, кто держит камеру. — Он погасил лампу и поднялся. — А теперь спать. Завтра, брат, мы с тобой идём на сеанс к барону фон Гейсту. И ежели барон вызывает духов — стало быть, и нам сам бог велел вызвать одного. Нашего. Напускного.

Глава вторая. Наука против барона

Утром Вересов, против обыкновения, не пошёл в ателье, а засел дома, за тем самым столом, за которым он в такие дни раскладывал не снимки, а мысли — по порядку, как раскладывают пасьянс, где карты наполовину чужие.

Стол этот был невелик и до того завален, что постороннему показался бы складом забытых вещей: лупы, негативы, вырезки, обломки сургуча и — отдельно, в бархатной коробочке, как реликвия — осколок пластины с его первого, самого первого разоблачения. Но Вересов знал, где что лежит, и в этом беспорядке, который посторонним казался хаосом, был, как в тёмной комнате, свой строгий порядок: всякой вещи — своё место, всякому месту — своя мысль. Он и сейчас, усевшись, первым делом сдвинул всё лишнее к краю, как сдвигают лишнее с кадра, и положил перед собой карточку — ту самую, с полупрозрачным господином за плечом вдовы. Всё, что ему предстояло узнать, было уже на этой карточке. Надо было только перестать на неё молиться и начать её читать.

На столе перед ним лежала вчерашняя карточка: Ольга Андреевна в кресле, а за её левым плечом — покойный муж, полупрозрачный, с лицом, освещённым нездешним — то есть попросту чужим, дневным, чужим из чужой комнаты — светом.

Проснувшись, он, по давней привычке, заварил себе чаю покрепче и, не зажигая верхней лампы, — утренний свет, падавший из окна, был как раз такой, какой нужен для разглядывания карточек, — сел к столу и разложил перед собой все три «духовных снимка».

Ночь Вересов спал плохо, и сны ему снились всё больше нелепые: будто он стоит в чужой гостиной, а из каждого зеркала на него смотрит полупрозрачный господин с бакенбардами и укоризненно качает головой. Проснулся он затемно, полежал, глядя в потолок, и решил не откладывать: разобрать эти карточки по-научному, как разбирают часы, — на пружины, колёсики и враньё. В конце концов, думал он, всякое чудо — это всего лишь механика, у которой забыли смазать шарниры. А он, Вересов, как раз и есть тот мастер, который эту смазку чувствует носом.

Макар, прибежавший с поручением, застал хозяина за странным занятием: Вересов сидел, прикрыв один глаз, и медленно водил карточку мимо лампы, как водят магнит мимо железных опилок, и губы его беззвучно шевелились.

— Считаете? — шёпотом спросил Макар, на всякий случай крестясь под столом.

— Экспозиции, Макар, — продолжал он, не отрываясь от карточки, — это, брат, азбука нашего ремесла. Одна экспозиция — один снимок, один свет, одна правда. А когда на одной пластине две экспозиции, — значит, и правды две, и обе врут. Вот и вся арифметика, и в ней, заметь, весь этот «барон» со всеми его духами. — Он вдруг перевернул карточку обратной стороной, поднёс к свету и, сощурившись, прочёл на обороте чуть заметную карандашную метку: «№ 7. Гейсту». — А вот и расписочка, — сказал он тихо. — Не побрезговал, голубчик, и счёт выставить. Дорогой, небось, счёт. И ведь, что любопытно, — он отложил карточку, — платила-то по нему не вдова, а сам «дух». Из тех самых денег, что вдове муж оставил.

— Считаю, — отозвался Вересов. — Экспозиции считаю.

И, помолчав, он принялся водить пальцем по карточке, показывая то, что видел только его натренированный глаз: вот здесь, на виске у «духа», резкость уходит, как вода в песок; вот здесь, по краю вдовьего плеча, контур двоится, будто её снимали дважды; а вот здесь, в углу, у самой рамки, — едва заметная полоска, где два снимка не сошлись. Всё это были не ошибки, а, наоборот, приметы ремесла, и приметы эти говорили Вересову больше, чем иной свидетель: человек, делавший карточки, руки имел умелые, но нетерпеливые, и работал не на совесть, а на срок. Такие, подумал он, и выдаются первыми — не от страха, а от лени. И вот что скажу тебе, Макар: ежели это дело рук светописца, то светописец этот — либо гений, каких в Петербурге

трое, либо пьяница, каких на Песках пруд пруди. И заметь, оба варианта уживаются в одном человеке не хуже, чем дух с дамой на одной пластине.

Лупа у Вересова была своя, особенная — медная, с треснувшим по краю стеклом, купленная ещё в ученье у покойного мастера на Вознесенском, — и он не доверял ей, а верил, как верят старому другу, который никогда не льстит. Через неё он и разглядывал теперь карточки, водя стеклом по краю, где плёнка на глянце была чуть толще и где, как известно всякому светописцу, всегда прячется правда. Правда пряталась и тут: у самого среза, под воротником вдовы, угадывалась едва заметная, тоньше волоса, линия — граница двух экспозиций, та самая, по которой одна карточка пришта к другой, как лоскут к лоскуту. Вересов долго смотрел на неё, потом откинулся и усмехнулся: «Вот она, Макар. Шов. У всякого чуда есть шов. Надо только знать, куда глядеть».

Он отложил карточку и взял лупу.

— Смотри и учись, раз уж назвался учеником. Первое — лицо. У барыни лицо резкое, до пушка над губой: снято при хорошем свете, с короткой выдержкой, фокус на ней. У покойника лицо — мягче, как сквозь кисею, и контур по краю бакенбард плывёт, будто он не человек, а отражение в самоваре. Отчего так? Оттого, что вторую экспозицию делали не с живого человека, а с уже готового портрета — дагерротипа, скорее всего, — и переснимали его, а при пересъёмке резкость сама собой плывёт. Привидения, брат, не бывают нерезкими. Привидения, ежели верить тем, кто их видал, — как раз наоборот: такие чёткие, что глазам больно. А тут — кисея. Значит, не дух, а стекло, снятое со стекла.

Второе — свет. Барыня освещена слева, свеча или лампа, тень у неё вправо. Покойник освещён сверху и справа, как в полдень у окна, тень у него влево. Два разных дня, две разных комнаты. Дух, который является из могилы, освещается, заметь, изнутри — так, по крайней мере, врут все очевидцы. А тут у духа тень в сторону падает. Тень, Макар! У привидения — тень! Ты видал, чтобы у дыма была тень?

— Не видал, — честно признался Макар.

— И никто не видал. Потому как тень — это удел тел, а не духов. — Вересов хлопнул ладонью по столу. — И третье, самое подлое. Глаз. У покойника в глазу — блик. Маленький, круглый, на зрачке. Такой блик даёт окно — высокое, полукруглое, какое было в модных ателье лет шесть-семь назад. Я этот блик, Макар, узнал с первого взгляда, потому как сам за такой же уплатил, когда покупал тут, на Невском, первую свою камеру. Стало быть, покойника снимали лет шесть назад, живым, у окна, на дагерротип. А теперь этот дагерротип пересняли и подсунили вдове под видом явления. Вот и вся мистика.

Макар помолчал, переваривая, и наконец спросил то, что его мучило:

— А зачем? Кому какая корысть мёртвого на снимок подкладывать?

— А вот это, — сказал Вересов, поднимаясь, — и есть единственный вопрос, ради которого стоит идти на сеанс. Потому как всё прочее — техника, а техника, брат, в нашем деле скучна, как катехизис.

Подшивки эти Вересов собирал не из любви к чтению, а из любви к делу: в них, по его убеждению, жила вся та невидимая, но верная хроника, которую не ухватишь ни в одном полицейском протоколе, — слухи, объявления, заметки, косые взгляды, обронённые кем-то слова. Газета, говаривал он, в нашем деле что проявитель: она вытаскивает на свет то, что люди предпочли бы оставить в темноте. И потому, вынудив нужную подшивку, он листал её не торопясь, с тем особым, почти хозяйским вниманием, с каким перебирают старые счета, ища в них ошибку, которая всё объяснит.

Он подошёл к шкафу, где у него лежали подшивки газет, вынул одну, перелистал, не глядя, и бросил на стол.

Макар, прибиравший в углу, при этих словах вытянул шею: он газет, по правде сказать, побаивался, потому как всякая заметка про барина оборачивалась потом либо новыми заказчи-

ками, либо новыми покойниками, — а что из двух хуже, Макар так до сих пор и не решил. Вересов же, напротив, относился к газетам с уважением человека, понимающего их силу: «Газета, Макар, — говорил он, перелистывая пожелтевшие листы, — это, брат, дневник города, только писанный наспех и на продажу. А в дневнике наспех, сам знаешь, люди проговариваются куда чаще, чем на исповеди».

— Читал, что в городе о спиритизме пишут? Вот, изволь. Журнал «Ребус» — издаёт некий Прибытков, человек, говорят, почтенный, — печатает у себя отчёты о сеансах, списки медиумов и рассуждения о том, что души умерших — это, извольте видеть, «сгущённый эфир». А в прошлом году, осенью, в этом самом «Ребусе» вышла статейка о «фотографиях с того света», где всерьёз доказывалось, что покойники, ежели их хорошо попросить, снимаются охотно и без всякого застенка. — Вересов усмехнулся. — И ведь народ читает. Не то чтобы верит — а так, сердцем тянется. Страшно человеку, что после него ничего не останется, кроме дагерротипа в бархатной рамке. Вот на этот-то страх и ловят.

Макар, выслушав про «сгущённый эфир», только головой покрутил: в его деревенском уме не укладывалось, как это взрослые, образованные господа могут читать такое всерьёз и ещё платить за это деньги. «Вот ведь, барин, — сказал он наконец, — у нас в деревне тоже покойники являлись, так там хоть дёшево: выпьешь лишнего — вот тебе и покойник. А тут, выходит, за то же самое — по подписке». Вересов, не сдержавшись, хмыкнул: «То-то и оно, Макар. Ваш покойник за рюмку водки — это честная галлюцинация, она денег не просит. А петербургский, „сгущённый эфир“, — это товар. И товар ходовой, потому как у галлюцинации, брат, есть одно неудобство: она проходит. А за эти деньги обещают такую, что не пройдёт никогда. За это и платят. За то, чтобы не проходило».

Вересов и сам когда-то, в студенческие годы, увлекался такими вещами — не спиритизмом, боже упаси, а обратной его стороной: он разбирал, как устроены «чудеса», с той же жадностью, с какой анатом разбирает на столе то, что другие боятся взять в руки. Он помнил, как в анатомическом театре старый прозектор, подсмеиваясь, показывал им «духов», которых мнительные гимназистки видели в спирту: всё это, господа, говорил он, были плёнки и блики, и чем темнее в комнате, тем больше в ней привидений. С тех пор Вересов и вынес простое правило, которому следовал всю жизнь: всякое чудо, если на него направить достаточно света, рано или поздно признаётся в том, что оно — фокус. А фокусы он, по долгу службы, знал наизусть, от двойной экспозиции до мокрого коллодия, недаром же его самого в ателье звали «человеком, который умеет всё, что умеет обман».

— А Менделеев-то, — вставил Макар, обрадованный, что может блеснуть, — Менделеев, барин, ведь их всех и разоблачил! В газетах писали!

Макар при этих словах даже рот приоткрыл: в его представлении Менделеев был человеком, который живёт где-то на самом верху, среди самых главных людей империи, и то, что барин говорит о нём запросто, как о соседе, всякий раз наполняло Макара гордостью и тревогой разом. «Дмитрий Иванович, — продолжал Вересов, не замечая Макарова восторга, — собрал, помнится, у себя на квартире самых знаменитых медиумов. И Бреди́фа с женой, и всяких прочих. Посадил их за стол, велел держать руки на виду, ноги — под наблюдением, а сам, брат, с приборами. И что же? Пока медиумам не мешали — духи так и сыпались, столы плясали. А как взяли господ духов за ногу, — Вересов усмехнулся, — так все духи разом и по-английски, не простившись, удалились». Макар фыркнул. «Вот то-то и оно, — сказал Вересов. — Духи, брат, боятся не креста и не молитвы. Духи боятся того, чтобы их взяли за ногу».

— Менделеев, — кивнул Вересов, — Дмитрий Иванович, дай бог ему здоровья, ещё в семьдесят пятом собрал комиссию, посадил за стол самых знаменитых медиумов — и Бреди́фа, и прочих — и велел им вызвать хоть одного духа по-научному: руки на стол, ноги под наблюдением, приборы кругом. И что ты думаешь? Как только медиума взяли за ногу, так все духи разом и отлетели. Ни одного не дождались. Комиссия вынесла приговор: спиритизм

есть суеверие, а медиумы суть либо обманщики, либо душевнобольные. — Вересов снова сел. — И вот что характерно: приговор тот был напечатан, читан, осмеян и... забыт. Потому как людям, Макар, не наука нужна, а надежда. А надежда — товар такой, что чем дороже берут, тем охотнее платят.

Макар, дослушав, долго молчал, а потом выдал неожиданно здоровое: «Так это ж, барин, выходит, у вас с Менделеевым одна наука — только вы-то за ногу не держите, а фотографируете». Вересов усмехнулся. «Именно, Макар. И именно поэтому, — он постучал пальцем по карточке, — мы с тобой сделаем то, чего не сделала комиссия: не станем никого хватать за ногу заранее. Мы дадим барону самому вызвать духа — и подождём, покуда дух не встанет в полный рост. А вот тогда, — он прищурился, — тогда мы его и снимем. Не в переносном смысле. В самом прямом. Светом, Макар. Магнием. И пусть потом кто-нибудь попробует сказать, что покойник вышел неудачно».

— А знаешь, как такие снимки делаются? — Вересов повернулся к Макару, и тот, чувствуя, что барин снова вошёл в свой «учительский раж», поспешно кивнул. — Берётся человек, снимается на чёрном фоне, вполсилы. Потом пластина не проявляется до конца — недодержка. Потом на ту же пластину снимается вдова — обычным порядком, при полном свете. И выходит: вдова — как живая, а «дух» — полупрозрачный, потому как недодержанный. Вот и вся премудрость. Всё это, брат, я умею с закрытыми глазами, и любой фотограф с Песков умеет. Только честный фотограф этим не торгует. А тот, кто торгует, — тот уже не фотограф, а... — он запнулся, подбирая слово, — а ловец человеков. И ловят они, заметь, не кошельки, а сердца. Потому как сердце легче и дороже.

Он выдвинул ящик, достал лист бумаги и стал записывать — коротко, печатными буквами, как записывал всегда, когда дело начинало складываться:

«Стрешнев Викентий Павлович. Пароходство. Умер год назад, в октябре. Сердце.

Вдова Ольга Андреевна. В трауре. Приносит „духовные снимки“ — двойная экспозиция, лицо с дагерротипа.

Медиум — барон фон Гейст. Сеансы. „Снимки с того света“. Бескорыстен (со слов вдовы).

Светописец — некто из дешёвых, делает подделки. Найти.

Вопрос: кому и зачем мёртвый, который „является“?»

Запись эта — шесть строк, торопливо, но разборчиво выведенных, — была, по сути, весь план предстоящего дела, и Вересов, человек аккуратный, любил такие минуты: когда хаос чужой беды, ещё час назад казавшийся непролазным, вдруг укладывается в несколько строк и перестаёт пугать. Так, думал он, и проявляется всякое расследование: сперва — тёмная пластина, на которой ничего не видно, а потом, глядишь, из серости начинают проступать лица, дома, подписи. Надо только не торопить проявитель и не дёргать пластину раньше времени.

Он откинулся на спинку стула и долго смотрел на эту запись, потом подчеркнул последнюю строку дважды.

Макар, заглядывавший через его плечо, долго водил губами, разбирая баринов почерк, и наконец не выдержал: «Барин, а чего вы всё время последнюю строку-то чиркаете? Уж на что глядеть, так на первую: там и барон, и духи, и покойник. А вы — про корысть какую-то». — «Потому и чиркаю, — сказал Вересов, не оборачиваясь, — что всё прочее, Макар, — это декорации. Барон, духи, покойник — это всё картинка. А корысть — это негатив. И пока ты негатив не проявишь, ты, брат, всё будешь на картинку молиться, как та барыня на своего полупрозрачного господина».

Потом он ещё раз перебрал карточки, разложив их перед собой, как пасьянс. Все три — вдовы — были сняты в разное время, в разных платьях и, судя по фону, в разных комнатах, но «дух» на всех трёх был один и тот же: то же лицо, тот же наклон головы, тот же блик в зрачке. Стало быть, поддельщик не трудился разнообразить — он всякий раз подкладывал одну и ту

же, раз навсегда снятую с дагерротипа маску. И это было Вересову на руку: человек, который не трудится разнообразить, не трудится и замечать следы. Такие поддельщики, подумал он, всегда рано или поздно оставляют на стекле отпечаток собственной лени — а лень, как известно, лучший сыщик.

— Вот, Макар, гляди. Всякое мошенничество, как и всякий снимок, имеет негатив: то, ради чего оно затеяно. У кражи — деньги. У поджога — земля или страховка. А у «духов с того света» что? Кому мёртвый муж, который является по ночам, приносит доход — кроме самого покойника, которому уже всё равно?

— Медиуму, — сказал Макар нерешительно. — Ей же... барыне... он, поди, за сеансы...

— А вот барыня-то и говорит, что барон бескорыстен. — Вересов покачал головой. — И это, брат, самое подозрительное. Бескорыстный медиум — всё равно что бесплатный гробовщик: такого не бывает, а ежели бывает, то у него в подвале фабрика. Нет, тут корысть есть, только она не в деньгах за сеанс. Она где-то глубже. В бумагах, которые барыня подписывает по «совету покойного». В наследстве. В пароходстве, которое теперь без хозяина. — Он встал. — И потому мы с тобой сегодня идём не духов смотреть, а людей. Люди, Макар, — вот где всегда и бывает самое страшное. Привидение — это, в сущности, самый честный участник всего этого дела: оно хотя бы не притворяется живым.

— А как же он тогда кормится, барин? — не унимался Макар. — Салон-то на Фонтанке, чай, не даром топят, и ливрея у лакея не с неба. — А вот это, — Вересов поднял палец, — и есть самая хитрая часть всей механики. Бескорыстный медиум денег не берёт. Он берёт кое-что подороже — доверие. А доверие, Макар, в этом городе стоит дороже иных облигаций, потому как оно, в отличие от них, нигде не котируется и оттого не подлежит ни учёту, ни описи. Покажи мне человека, который отказывается от денег, — и я покажу тебе человека, который пришёл за тем, что стоит всех денег разом. За всем остальным. — Он помолчал, разглядывая карточку. — А всё остальное у вдовы, брат, одно: пароходство.

К вечеру, когда за окнами снова засеял дождь, Вересов вынул из гардероба сюртук потемнее, повязал галстук так, чтобы не бросался в глаза, и, поколебавшись, снял с пальца перстень с печаткой — единственное, что выдавало в нём человека с достатком и привычкой к нему.

— Слушай, Макар, и запоминай. На сеансе я — скромный родственник барыни, приехавший из провинции по делам наследства. Ты — при мне, из прислуги. Рот на замке, глаза остро, руки — при себе, к столу не прикасаться, как бы тебя ни звали «для чистоты опыта». И запомни главное: чего бы ни случилось — не креститься, не ахать и, упаси тебя господь, не шептать «свят-свят». Нам, брат, надобно не духов испугать, а людей усыпить. А люди эти, — он накинул пальто и взял трость, — бояться на сеансах только одного: света.

Вересов, запирая за собой дверь, ещё раз оглянулся на ателье: в красном окне тёмной комнаты, как всегда, тлел огонёк, и от этого ателье казалось не то что живым, а — бодрствующим, как караулка, в которой никогда не спят. Он любил свой дом именно таким, засыпающим, но не спящим: казалось, и сами стены, и ванночки, и объективы, и стопки карточек на полках — всё это, дождавшись его ухода, начнёт вполголоса обсуждать дневные лица. И потому, выходя в мокрый, взъерошенный вечер, он невольно усмехнулся: человек, у которого даже дом не спит, обречён рано или поздно столкнуться со всякой нечистью. Хоть с той, что в марле, хоть с той, что в сюртуке.

Макар, шагавший рядом, всю дорогу до Фонтанки держал в уме заготовленную барином роль и то и дело повторял её про себя, как урок: «Родственник из провинции... присяжный поверенный... ничего не вижу, ничему не верю». Под конец он так затвердил, что начал путаться, и Вересов, не выдержав, остановил его: «Запомни одно, Макар: на сеансе ты не родственник и не поверенный. Ты — человек, который первый раз видит чудо. Разинь рот пошире и верь. Верь так, как верит вся гостиная. Твоя вера — это наша с тобой камера: чем она честнее, тем скорее проявится фокус». Макар, поразмыслив, кивнул, и остаток пути они шли молча, а

дождь всё сеял и сеял, и в его ровном, терпеливом шуме Вересову слышалось то самое, что он сказал утром: надежда — товар, который тем дороже, чем охотнее за него платят. И платят, добавил он про себя, всегда вперёд.

И они вышли в мокрый, взъерошенный вечер, и дождь тотчас принялся шептать им в спины что-то своё, невнятное, как и положено дождю, который видал на своём веку больше спиритических сеансов, чем все «Ребусы», вместе взятые.

Глава третья. Сеанс у Цепного моста

Дом этот Вересов знал и раньше, ещё по прежним своим делам: когда-то в нём держала пансион одна немка, и весь Загородный ходил к ней обедать по воскресеньям. Теперь от пансиона не осталось и следа — разве что каменные амурчики на лестнице, да и тем пообломали носы, видно, ещё при переезде. Зато появилось другое: чёрные, глухие портьеры на окнах второго этажа, медная табличка у подъезда с готическими буквами и тот особенный, ни с чем не сравнимый привкус в самом воздухе, какой бывает в домах, где торгуют не товаром, а надеждой. Надежда, подумал Вересов, поднимаясь по ковровой лестнице, — вот единственный товар, который не портится и не скисает, сколько его ни продавай. Напротив: чем больше продаёшь, тем дороже он становится.

Дом барона фон Гейста стоял на Фонтанке, у Цепного моста, — из тех домов, что снаружи скромны, как чиновничья вдова, а внутри разительны, как купеческая невеста: лестница с ковром, зеркала в рост, и на каждом повороте — по каменному амурчику с отбитым, на всякий случай, носом.

У подъезда, начищенная до слепящего блеска, висела медная табличка с готическими буквами, и Вересов, проходя мимо, невольно остановился: буквы были выведены так старательно, так любовно, что, казалось, сама табличка знает, что висит на дверях не квартиры, а театра. «Баронъ фонъ Гейстъ. Приёмъ по вторникамъ и четвергамъ, отъ осьми часовъ». И ни слова о духах, отметил про себя Вересов. О духах на таких табличках не пишут. О них говорят шёпотом, по рекомендации, с оглядкой, — а это, он знал, лучшая реклама, какая только бывает на свете: та, которой нет.

Прислуга в доме барона была подобрана с тем расчётом, какой Вересов оценил сразу: ни одного лишнего лица, ни одного лишнего слова, и у всех — та особенная, сонная непроницаемость, какая бывает у людей, которым хорошо платят за молчание. Швейцар в ливрее принял у Вересова пальто с таким видом, будто взвешивал не одежду, а самого гостя, и, оглядев его с головы до ног, осведомился вполголоса, не изволит ли господин «приготовиться». «К чему?» — не понял Вересов. Швейцар чуть заметно усмехнулся: «Сами увидите-с. У нас все сперва готовятся, а уж потом видят». Вересов, припомнив эту усмешку, про себя решил, что ежели тут кого и надо «приготовить», то уж скорее самого швейцара — к допросу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.